

Григорий Барац

Первая любовь Толясика

Рассказ

Памяти моего друга детства, капитана дальнего плавания Анатолия Викторовича Нечаева.

Небо над крышей нашего трехэтажного дома было прямоугольным. Окаймляли его желоба ливневок трех флигелей, выстроенных буквой «П». Двери квартир внутри дворовых флигелей выходили на открытые галереи, что вызывало зависть пацанов фасадного флигеля, квартиры которого находились за закрытой глухой стеной лестничной клетки, запирающейся на ночь. Знойными летними вечерами галереи заполнялись раскладушками, на которых веселилась до полуночи вся дворовая детвора. Ночью, когда засыпали предки, можно было смотаться хоть до рассвета.

Первыми засыпали Нечаевы – семья Толясика, так называли в доме моего липшего кореша, Толика Нечаева. Нечаевым завидовал весь третий этаж. Их квартира была единственной на этаже «собственной». Все остальные квартиры были коммунальными.

Ложились Нечаевы рано, но и просыпались раньше всех. Бабушка Валя, грузная грудастая круглолицая крашенная блондинка с налитыми кровью глазами, вставала первой, чтобы успеть занять бельевые веревки. Обычно ей это удавалось. Но когда кто-либо опережал ее, скандал, на развлечение всем соседям, был обеспечен.

Окно кухни нечаевской квартиры, так же, как и дверь, выходило на галерею. Сквозь него было видно, как дядя Витя и тетя Таня – папа и мама Толясика – пили чай из поллитровых белых кружек. Возвращались Нечаевы поздно, особенно в конце месяца, – зарабатывали на сверхурочных.

Из моей квартиры, замыкавшей галерею, еще долго слышались приглушенные звуки пианино и швейной машинки. Этот дуэт исполняли мама, служащая концертмейстером в театре, и бабушка на ножном «Зингере», одевавшая местных дам в лифчики и бюстгалтеры. Как умудрялись спать под этот аккомпанемент мой папа и дед, мы гадали с Толястиком до полуночи, пока все не стихало.

Наши раскладушки стояли рядом, там, где галерея обрывалась крутой металлической лестницей. Поворочавшись и прислушиваясь, чтобы убедиться, что все спят и никто за нами не увяжется, с осторожностью следопыта, держа кеды в руках, спустились во двор. Пригнувшись под окна дворничихи бабы Зины, выходявшие в подъезд, пробрались на улицу.

Свет тусклых фонарей, висящих над булыжной мостовой, едва проникал между густой листвой софоры. Мелкие бело-желтые ее цветочки, похожие на акацию, густо засыпали базальтовые плиты, уложенные по четыре в ряд посреди тротуара.

Плиты, впитавшие в себя все солнце жаркого августовского дня, не успели остыть. Зато небольшие камни прибрежного ракушняка, хаотично уложенного по обеим сторонам плит, между которых густо пробивалась трава, были прохладны и ласково щекотали наши босые ноги.

Наши видавшие виды кеды, китайские спортивные ботинки из брезента и резиновой подошвы, спаренные шнурками, болтались на плече. Давненько купленные в магазине «Динамо» за деньги, полученные от продажи бычков и ставриды, они были предметом нашей гордости. Большинство пацанов обходились спортивными тапочками, которые часто летели во вратаря вслед за мячом.

От Треугольного до Щепного переулка по Базарной двести шагов, можно не проверять, еще пятьдесят до Тираспольской – границы центра и Молдаванки. Здесь было еще темнее. Местные пограничные пацаны с обеих сторон били из рогаток по лампочкам. Это была ничейная территория. Заходить сюда, а тем более на чужую территорию, было стремно, особенно вечером, когда жаждущие приключений стайки шныряли по улицам и дворам.

На этом пересечении шести дорог: Малой и Большой Арнаутской, Тираспольской, Прохоровской, Колонтаевской и Старопортофранковской, где пересаживался с трамвая на трамвай рабочий люд с Молдаванки,

Пересыпи, Черемушек и других одесских окраин, грех было не сделать торговый проходняк. Здесь смешались запахи прокисшего кваса и прогорклого пива, тарани, чебуреков, бочковой квашеной капусты и полевых помидор, сливы-венгерки и дыни-цыганочки, неженских огурчиков и херсонского арбуза.

Арбузные и дынные корки, абрикосовые и сливовые косточки вперемежку с объедками переполняли жестяные урны и выстраивались кучками вдоль бордюра со стороны мостовой в ожидании утренней метлы бабы Зины, будившей округу отборным матом в адрес погрязшего в дерьме человечества.

Оживала торговля только утром, когда полуторка, тащившая за собой гирлянду бочек с пивом, оставляла крайнюю на углу, у дома, где висел парфюмерный автомат, который за пятнадцать копеек, вброшенных в щелку, несколько раз пшикал в лицо «Шипром». Дом этот принадлежал одному из пивных королей Одессы Рудольфу Кемпе. Жену его, чей профиль изображен на медальонах под крышей, звали Матильдой. По иронии судьбы так же звали продавщицу бочкового пива. Она была, пожалуй, единственной постоянной торговкой на улице, остальные – сезонные. Потому и командовала ими, как дембель салагами, – добродушно-покровительственно.

Сезонницы, женщины-пенсионерки в белых войлочных шляпах, с брезентовыми сумками на животах, сидели на деревянных табуретах рядом с весами «уточками», периодически выкрикивая: «Овощ, фрукта!». Ящики с развесным товаром находились внутри клетки из стальных прутьев толщиной в указательный палец. Вес клетки был настолько внушительным, что даже четверо дюжих мужиков не могли ее поднять. Но днища они почему-то не имели. Скорее из-за жадности, чем из-за беспечности.

Пора было надевать кеды – босиком быстро не побежишь. Сердца наши колотились так, что, казалось, разбудят спящую улицу. Мы впервые шли на дело, заранее планируя и готовясь к нему. Клетки, доверху наполненные полосатыми астраханцами, стояли в ряд вдоль тротуара, как будки для часового. Первой от угла, под тусклым желтым светом единственной на перекрестке горящей лампочки, стояла клеть с неприглядными на вид темными арбузными шарами почти правильной формы, но самыми сладкими и тонкокожими.

– Пуляй первым, – шепотом предложил я Толясику. Он был признанным лучшим стрелком из рогатки нашего хутора.

Первым выстрелом Толястик попал в металлический абажур, который словно вскрикнул от неожиданности своим железным дребезжащим голосом, расплывшимся по ночным улицам и переулкам. Зажглись несколько окон дома с противоположной стороны улицы. Мы вжались в стену затаив дыхание и, запрокинув головы, смотрели лишь на балкон под чердачным слуховым окном в виде шалаша.

Что послужило основанием назвать эту доморощенную конструкцию «Домом фараона», а его хозяина Фараонычем, можно было только догадываться: сходство чердачной самопальной надстройки с пирамидой Хеопса, отчество хозяина квартиры Ферапонтович или, скорее, его служба в милиции. По слухам, участковый Мирон Ферапонтович Сивый раньше плавал. Прошел портофлот, каботаж, ходил в загранку. Как и все моряки, привозил всякое шмутье и продавал его на толкучке. Рулон болоньевой ткани, которая была тогда в цене, продал цеховикам, которых ОБХСС (отдел борьбы с хищениями социалистической собственности) давно пас.

На допросах цеховики дружно его сдали. Сивому закрыли визу. На полгода он запил. И спился бы, если б не Фрима Абрамовна – заведующая буфетом в бане на Провиантской, где отягивались после парной и харчевались менты и бандиты. Она отмыла, отутюжила и откормила мужика. Якобы для того, чтобы не засветить фамилию, хотела оформить «фиктивный» брак. Но через пару месяцев забеременела. Сивый женился и не только остался на своей фамилии, но и Фрима Нахманович стала Сивая. От перемены фамилии навыки не потеряла. Дала на лапу начальнику ментовского райотдела и пристроила мужа участковым.

Свет в окне у Фараоныча не зажегся. Погасли и окна проснувшихся от выстрела жильцов.

– Мазила, – выдохнул я.

Не ответив, Толястик сунул мне в руку рогатку.

– Может, не надо? Шума много, толку мало. Да и без нее ни черта видно не будет, – прошептал я, скрывая за словами свою неуверенность.

Толястик отобрал рогатку, сунул ее за пояс и утвердительно спросил:

– Что, забздел?!

– Промажу все равно, – оправдывался я. – Еще больше шума наделаю.

– Тогда пошли, только тихо, – и Толястик, взяв меня за руку, нырнул в темноту.

Несколько дней мы с Толястиком разрабатывали план ограбления. Идея была его. Недалеко от клетки с арбузами стояла прямоугольная урна из толстых листов железа. Второй приспособой в деле была оглобля. Она лежала за задней стенкой клетки, на мостовой вдоль бордюра. Принадлежала биндюжнику Ицьку, пожилому еврею-инвалиду.

Несмотря на то, что дороги все больше наполнялись не только довоенными полуторками, но и ГАЗами, ЗИЛами и другими грузовиками, биндюги – вместительные площадки на конной тяге – еще были востребованы. Особенно летом и осенью, когда ежедневно с пригородных полей нужно было развезти фрукты и овощи в разные точки города небольшими партиями.

Ранен был Ицьк 7 апреля, за три дня до освобождения Одессы. Боец конно-механизированной группы генерала Плиева, он освобождал Беляевку, Маяки, и уже у выхода к Днестровскому лиману осколок снаряда перебил ему ногу почти у самого бедра. Фронтовые хирурги уже готовились отрезать ее, когда замполит госпиталя распорядился наложить гипс, сказав: «А кто за него работать будет?». Кость срослась, но неправильно, и нога стала сантиметров на десять короче.

В доме, где на первом этаже, в квартирке на одно окно, выходящее во двор, жил его отец, вернувшийся из эвакуации в Башкирию, он появился поздней осенью, ведя за собой двух коней, подаренных однополчанами. Где он их держал? Чем кормил? Но исправно, чуть рассветет, он приводил их ко двору, скоблил, вычесывал и, отобрав у дворнички бабы Зины шланг, обливал лошадок, напевая что-то на идише и похлопывая их по крупу.

Если была заказана перевозка не тяжелого груза, он запрягал одну лошадь, и для этого ему нужна была пара оглобель. Для грузов потяжелее нужна была пара лошадей. И тогда вторая оглобля оставалась лежать подле клетки с арбузами под бдительным надзором сезонщиц.

Почти бесшумно одним махом мы подтащили урну к вожденной клетке. Оглобля без труда воткнулась в клетку и, опираясь об урну, создала рычаг. Вряд ли великий сиракузец мог предположить, что его гениальная идея может быть использована для воровской ходки. Но нет сомнений, что никто из нас не знал о его прозорливой догадке. Любовь и лень – два великих стимула прогресса. Чего только не придумаешь, чтобы добиться взаимности любимой девушки! А если бы не лень было таскать, до сих пор не придумали бы рычаг и колесо.

Противовес в два наших мальчишеских тела благодаря Архимеду приподнял боковину жалобно скрипнувшей клетки. На удивление, арбузы не покатались из-под нее, как мы рассчитывали.

– Надо сделать рычаг подлиннее, – уверенно сказал Толястик.

Мы переставили урну поближе к клетке.

– Теперь ты тяни, а я вытащу, предложил Толястик, отпуская оглоблю.

Словно сопротивляясь нашим намереньям, оглобля плавно приподняла меня над землей и так же медленно, без стука, опустила клетку.

– Ничего не выйдет, – прыгнув, сдался я.

– Слабак, – презрительно огрызнулся Толястик. Он снял тюбетейку, прикрывавшую его золотые завитушки, поплевал себе на ладони, подпрыгнул, ухватившись за самый край оглобли, и прошипел: – Помогай.

Обняв его ноги, я присел. Со второй попытки клетку приподнялась чуть выше, и арбузы, толкая друг друга, словно радуясь освобождению, выкатились на тротуар.

– Два потянешь? – спросил Толястик, нагружая прохладные шары в прихваченные авоськи. Связав пару авосек и не дождавшись ответа, он взвалил их мне на плечо так, что один арбуз оказался впереди, второй за спиной. Закинув такую же поклажу себе на плечо и осмотревшись, Толястик определил оптимальный путь продвижения к Дегтярной, улице, где жила его первая любовь – Наташка Жукова: – По левой стороне не пойдем, там светлее, и нырнуть некуда, если атас. Валим по правой, здесь двор за двором. Если что, в подворотню нырнем.

Как в воду смотрел Толястик. Не успели мы пройти и четверти пролета от Базарной до Дегтярной, как услышали, а проскользнув в подворотню, увидели сквозь решетчатые ворота идущих навстречу друг к другу по левой стороне улицы вдоль стены табачной фабрики Фараоныча и двух подгулявших мужиков. Короткий милицейский свисток предупредил попытку мужиков улизнуть, и они остановились возле большого рекламного плаката, на котором была изображена пачка папирос с фильтром «Сальве» размером с большой чемодан, надпись под которым гласила: «Слава уходит, как дым, деньги уходят, как дым, жизнь уходит, как дым, ничто так не вечно, как дым папирос Salve».

По долетавшим до нас обрывкам фраз и слов, среди которых отчетливо слышны были «урна», «оглобля», «арбуз», любой дурак догадался бы, что нас ищут. В какой-то момент показалось, что Фараоныч остановил взгляд прямо на нас.

– Может быть, вернем или прямо здесь оставим и драпанем, – прошептал я деревенеющим языком.

– Не дрефь, глянь, они уже сваливают.

Как только темнота укрыла удаляющихся в сторону площади, мы помчались к дому на Дегтярной, где жила Наташка Жукова – первая любовь Толясика, словно у нас выросли крылья вместо десяти килограмм арбузов.

Во дворе под окном квартиры на первом этаже, которое доходило почти до земли, был палисадник, окаймленный деревянным штакетником до колена. Калитки не было. Окно открыто. Как только арбузы уткнулись в низ оконной рамы, свет в окне зажегся, и через мгновение в нем показалась воздушная фигурка белокурой принцессы в белой, до колен достигающей шелковой маечке. Она присела на подоконник и, протирая кулачком заспанные глаза, зевнула:

– Ты сумасшедший.

Но сказано это было в такой тональности, что означало: «Ты лучший». Характеристика эта была обращена, конечно, не ко мне.

Покатив арбузы, я хотел было драпануть, но услышал приказной шепот Толясика:

– Жди.

Наташку Жукову – первую любовь Толясика, он впервые увидел на школьном балу. Пригласить ее на танец он и подумать не мог – сам не умел и не хотел учиться. Но отважился, а она ему отказала. Завороженно следил он за партнерами, которые сменялись во время танца: кому улыбалась, с кем переговаривалась, кого подзывала. Но провожать ее домой пошел он, сказав: «Нам по дороге», – отшив двух подоспевших крепышей.

В школьной форме, с причесанными на пробор льняными волосиками, стянутыми двумя огромными белыми бантами в два жиденьких хвостика, голубыми глазами с черными длинными ресницами под белесыми бровками да с белым, несоразмерно большим фартуком, она была похожа на бабочку-капустницу. А сейчас в возникшем из темноты сияющем обрамлении окна она казалась неземным созданием, сотканным из света. Она сидела на подоконнике, поджав под себя коленки. Пружинки ее золотых волос сплелись с колечками его золотых кудрей. Щекой она прижалась к его макушке. Руки, обвинившие его голову, притягивали ее к едва заметной под белым шелком девичьей грудке.

– Беги, – прошептала она и, взяв в свои ладони его лицо, повернула его к себе, на мгновенье прикоснулась губами к его губам и тут же исчезла в потухшем окне.

– Через Щепной или Треугольный пойдем? – спросил я, как только вышли за ворота.

– Тихо пойдем, – ухмыльнулся Толясик, и мне показалось, что он вдруг переменялся, стал старше и взрослее. – Держись за меня, – и Толясик, протянув мне руку, потянул за собой.

Мы не бежали, мы парили над булыжной мостовой, огибая прогалины лунного света. Двор беззаботно спал воротами нараспашку. В подъезде мы чуть не спалились, буквально наткнувшись на целующуюся парочку. Танька с нашего этажа, не отпуская шею мускулистого коротышки, прижала указательный палец правой руки к губам, давая понять, что шум не в ее интересах.

– Наше алиби рыбалка, – поднимаясь по лестнице, заключил Толясик. В его голосе появилась уверенность и безапелляционность. – Закидушки, самодуры и удки под моей раскладухой. Разбужу в пять. Проснусь точно, батя каждый день в это время свет в кухне зажигает.

– Так спать ничего не осталось, – заканючил я жалобно.

– Днем выспишься, барин нашелся, – ухмыльнулся в темноте Толясик.

– А наживка, а пожрать? – запричитал я, пытаюсь найти слаби-ну в плане Толясика.

– Не бойсь. Рачков навалом и тормозок не слабый.

Мои карты были биты, и я зарылся носом в подушку, натянув на себя махровую простыню. Заснуть не успел. Раскладушка за-скрипела под тяжестью усевшейся на нее полненькой грудастой Таньки, созревшей к замужеству и просвещавшей нас, как она вы-ражалась, «молокососов», насчет премудростей: что откуда рас-тет, что куда попадает и что откуда появляется.

– Ну как тебе мой Генка? – спросила Танька, видимо, для за-травки разговора и, не дожидаясь ответа, спросила: – А от кого это вы так драпали?

– А ты что с Генкой делала в подъезде? – вопросом на вопрос ответил я.

– Понял, не дурак, – почему-то за себя, как за мужчину, ответи-ла Танька. – Ты меня не видел, я тебя не видел.

И она уплыла в раскрытую дверь квартиры, оставив за собой шлейф головокружительного запаха зрелой молодости и прост-ых духов.

Повернувшись на спину, я лежал, глядя в черное небо с под-мигивающими голубыми и красными звездами. Мне захоте-лось притронуться к ним и узнать, холодные ли они, теплые или горячие. Тихо, чтобы никого не разбудить, я пролез между деревянными балясинами, оттолкнулся от парапета галереи и полетел к звездам. Вблизи они оказались голубыми и крас-ными прозрачными арбузами, внутри которых плавали золо-тые рыбки. А еще они были удивительно легкими. Прихватив две звезды, полетел к дому Наташки Жуковой – первой любви Толясика.

Бабочка-капустница вылетела из окна, как только я поднес к нему звезды. Она жонглировала ими, и ее белые крылышки переливались красно-голубым сиянием. На лету она напевала ве-селую песенку, состоящую из одного слова «Толясик». Мы присе-ли на подоконник лицом друг к другу. Сначала мелко, а затем все

сильнее задрожали стекла окна. Ее личико стало расплываться в темноте, а вместо него появилось лицо Толясика, который тряс меня, пытаясь разбудить.

Первый трамвай на Фонтан уходил в шесть. Но можно было сесть раньше, когда он выходил из депо за вокзалом. Кондуктор, полуслепая вечно брюзжащая тетя Тоня неопределенного возраста, испытывала на нас свой запас ругательно-нежных слов весь путь, от депо до конечной остановки у Куликова поля.

– Сидайте, босяки, – говорила она. – Вы колы у останний раз йили, вчора, або позавчора? Трымайте, шкили-макароны, – и она вынула из старой потертой брезентовой сумки, висевшей у нее на животе, два пахучих пирожка с капустой.

Трамвай был пуст, шел медленно, но без остановок. Мы разлеглись рядом на двухместных скамейках, разделенных одной спинкой. Скрип уставшего вагона, дребезжание стекол заглушали наши хвастливые воспоминания о событиях минувшей ночи, прерываемые смехом. Мой сон Толясику не понравился. Он замолчал, привстал и, насупившись, чужим голосом сказал:

– Думать о ней не моги. Моя девушка.

– Не думал я о ней думать, нужна она мне сильно, – ответил я намеренно обиженным тоном.

– Тогда и не обижайся, – улыбнулся Толясик, подавая мне руку, чтобы помочь подняться. – Вставай, приехали.

– Выходим, конечная, Люздорф, по-советски Черноморка, – неожиданно по-русски, громко, словно трамвай был полон народу, сообщила тетя Тоня, делая вид, что позабыла взять с нас по три копейки за билеты.

Двухголовый вагончик-тянитолкай, снующий между Черноморкой и Дачей Ковалевского, не пришлось ждать долго. Коля была одна. Доехав до конечной, вагоновожатый пересеживался из головы в хвост или наоборот и катил в обратную сторону. Ехали мы молча, стоя друг за другом, одной рукой держались за деревянные кольца, привязанные к поручням, а другой сжимали наши бамбуковые удочки, садки и ведерки для улова.

В голове моей, как на испорченной пластинке, крутилось одно слово – «девушка». Откуда оно взялось? Одноклассниц, соседок, подружек мы всегда называли девчонками. И вдруг «девушка»!

Необычно и непонятно. Чем Наташка Жукова, еще совсем недавно Жучка, заслужила называться девушкой? Конечно, он в нее втюрился. В девчонку можно втюриться, а влюбляются, видимо, в девушку.

Через Маячный переулочек, по тропинке, ведущей к морю, заросшей дикой маслиной, терновником, бузиной и шиповником, мы спустились к лодочной станции. Дверь сторожки была открыта. Из нее выглядывал сапог и самодельный протез ноги. Храп был похож на прибой: на вдохе он рассыпался, как песок при откатывающейся волне, при выдохе – будто море приносило перемалывающие друг друга гравий и гальку.

Гораздо ближе к дому были прокатные лодочные станции на Ланжероне, в Аркадии и на Фонтане. Но мы перли аж на Дачу Ковалевского к дяде Володе, нашему соседу по дому, только потому что он давал нам лодку, не требуя паспорта. До совершеннолетия нам не хватало года по три. Но по еврейской традиции мне справили бар-мицву, и папа подарил мне часы «Победа». Дядя Володя отбирал их у меня в качестве залога и, надевая на свою волосатую руку, смеясь, желал нам, как он говорил, «догребсти до Турции и там и остаться».

Будить дядю Володю не решились. Работал он сутки через двое. Ночью во время дежурства отсыпался в сторожке, а в выходные разъезжал на своей «инвалидке» – жестяной мотоколяске размером и формой с детский автомобильчик. Делал гешефт – мотался между цеховиками и Привозом, перевозя различную галантерею. Платили ему не деньгами, а товаром: перчатками, сумками, щетками, скатертями, вешалками, ремнями и другой бытовой мелочью. Весь квартал бегал к его жене, которую он привез с фронта, тете Саре, контуженной седой женщине с безумными глазами, в неизменном байковом халате, чтобы купить что-либо по дешевке.

Бросив в лодку якорь-кошку, черпак и свежавыкрашенный алой краской спасательный круг, дядя Володя вставил в ключи весла и одним усилием вытолкнул ялик вместе с нами в прибрежный накат.

Острый нос мыса Большой Фонтан уходит под воду каменистой грядой, обросшей водорослями, которыми питаются мидии, –

рай для бычков: кнутов и бобырей. Но нам для начала нужна была ставридка, не любящая мелководья. Пришлось подна-лечь на весла. В полумиле от берега, там, где чайки то взлетали, то падали в воду, мы, не бросая якоря, развернули самодуры с разноцветными перышками возле каждого из десяти крючков. Ставридка, казалось, ждала нас. Удочки затрепетали в руках. По пять-шесть серебристо-голубых атласных морских красавиц трепыхались на крючках при каждом забросе. Дольше было снимать с крючков, чем ловить.

– Может, покушаем? – просительно пробурчал я, не надеясь на положительный ответ.

– Не заслужили еще, – снимая с крючков ставриду, ответил Толясик. – Пока фартит – ловим.

Садки наши уже заполнились до второго кольца, когда Толясик, ни слова не говоря, бросил удочку на днище, стал на корму, подпрыгнул, сложился в воздухе и рыбкой ушел в воду. Перева-лившись через борт, я плюхнулся, едва не перевернув лодку, вызвав смех и восторг Толясика. Пока мы дурили ставриду и плескались, лодку отнесло ближе к берегу. Закинув «кошку», Толясик отпустил конец, и только почувствовав, что заякорились, привя-зал конец к рыму – кольцу на носу лодки.

– Здесь бычка потянем, но сначала похаваем, – усаживаясь на банку, как на коня, и развязывая тормозок, распорядился Толясик. – Каждой твари по паре, – сказал он, выкладывая на банку по паре помидоров, огурцов и цибули. Нарезать хлеб он доверил мне, владеющему перочинным ножиком, подарком деда к моему тринадцатилетию. Посреди этого роскошного стола возвы-шалась горка соли.

Набрав в черпак воды, Толясик высыпал в него из своего садка пару дюжин ставридок – основное блюдо нашего завтрака. Черпак закипел, словно в нем плавилось серебро. Подхватив за хвост по рыбке, мы разом ударили ими по борту лодки. Движения были не раз отработаны. Удалив головку и кишечки уснувшей рыбке, мы споласкивали ее за бортом, держа за хвост. Отряхнув и обмакнув в соль, лакомились свежатинкой. Мне нравилось обкусывать центральную косточку со всех сторон. Толясик ел с косточкой, на-зывая меня барином.

Насаживая на крючки крупных рачков – черноморских креветок, Толястик приговаривал: – Сам бы съел, – и, раскрутив закидушку, бросал ее в воду. Но бычок шел лениво. Солнце прогрело мелководье, и рыба почти заснула.

Подсыпал и я. На каждые выловленные Толястиком пять бычков мне попадался один.

– На сковородку хватит, – прикинув улов, подвел итог Толястик.

Легкий северный ветерок помог нам быстро догresti до берега. За узкой полоской песка в тени разросшегося куста жасмина кемарил дядя Володя. Он тут же вскочил, как только нос ялика, слегка зашуршав, уткнулся в песок, и заковылял на деревяшке нам навстречу. Приговаривая «Бог велел делиться», он выгребал наш улов своей лапой, больше похожей на ковш экскаватора.

– Легче в гору тарабанить будет, – этими словами он завершил экспроприацию, почти на четверть опустошив наши ведерки.

Возвращались трамваями с тремя пересадками, мимо санаториев, пионерских лагерей, дач, пляжей, вокзала и Привоза. Мы молча стояли, притиснутые к открытому окну, и чем ближе было к дому, тем почему-то тревожнее становилось на душе. Не сговариваясь, мы обернулись друг к другу и мгновенно поняли, что думаем об одном и том же – о ночной краже.

– Если что – молчок, – глядя мне прямо в глаза, гипнотизировал меня Толястик.

Холодок пробежал у меня по животу. Боднув головой, я попытался отвернуться, чтобы скрыть свой страх. Повернув меня к себе, Толястик потребовал:

– Мамой и папой клянись.

– Божусь – никому ни слова, – запричитал я.

– Клянись, сказал, – угрожающе насел Толястик.

Опустив голову, чтобы не было видно слез, наполнивших мои глаза, я произнес:

– Чтоб моя мама умерла и папа погиб на фронте, если я кому-то скажу за сегодняшнюю ночь.

За полквартила до нашего дома мы увидели вышагивающего у ворот Фараоныча. Он тоже заметил нас и замахал руками, подзывая к себе. Ведерко выскользнуло из моих рук.

– Не дрефь, прорвемся, – сказал Толястик, глядя в сторону Фараоныча.

Засунув руки в карманы галифе, Фараоныч терпеливо ждал нас, не делая ни шагу навстречу.

– Как рыбалка, пацаны? Улов не поганый? А кроме рыбы чего еще наловили? – задал несколько вопросов подряд участковый, как только мы подошли. – Молчите – тогда айда за мной.

И он повел нас к месту нашей лихой ночной вылазки.

– Ну, сознавайтесь, сколько арбузов стырили. Или мне вам рассказать, как вы оглоблей клеть подняли? – продолжал допрос Фараоныч.

Потупившись, мы не произносили ни слова.

– Матильда, – обратился Фараоныч к сидевшей у пивной бочки спиной к нему потомственной торговке, – у кого из твоих арбузы покрали?

– Ой, кто к нам пришел! Пинкертон ты наш задрипанный! Тебе кто сказал, что у нас что-то пропало? – произнесла она нараспев, неожиданно обнаружив в себе любительницу детективов.

– Эй, бабоньки, у кого чего крали? – крикнула Митильда, обернувшись к сезонщицам.

От крайней клетки, из которой ночью мы выкрали четыре арбуза, подошла продавщица и, повернувшись к нам, улыбаясь, спросила:

– А это что за два шкета?

Обалдевшие от неожиданности, мы смотрели на нее, как замороженные. На сей раз выпустил ведро из рук Толястик. Сомнений не было – перед нами была взрослая копия Жучки, Наташки Жуковой, девушки Толястика, его первой любви.

– Урки это малолетние, вот кто! – возмутился Фараоныч. – У меня вещественные доказательства имеются.

И, вынув из кармана галифе тубетейку Толястика, добавил:

– Найдена на месте преступления, здесь и фамилия написана.

– Фараоныч, ты что из себя Шерлока Хомса строишь? – надела на него Матильда. – Ты про презумпцию невиновности слышал? Как ты докажешь, что он тубетейку этой ночью здесь потерял? Ночью он дома спит, и у него свидетели этому есть. А не докажешь – тебе в отделении пистон вставят. Совсем мальчишек

запугал. Глянь, сколько рыбы они наловили. Бери ведро и неси своей Фриме Абрамовне, она знает, что с ней делать, – схитрила Матильда, зная слабость Фараоныча к лихоимству.

– Тогда я и второе заберу, – зажадничал участковый.

– Нет уж, – возразила взрослая копия Жучки и, не дождавшись ответа замешкавшегося участкового, шепнула Толясику на ухо: – Вечерком приходите, – и громко, обращаясь к нам, сказала: – Мотайте отсюда.

Как подорванные шуганули мы с места, схватив вдвоем одно ведро.

– Стоять! – крикнул вслед Фараоныч и лениво попытался побежать за нами. На пути его, расставив руки, так что казалось, она перекрыла всю улицу, встала обворованная нами наша заступница.

Не раздеваясь, я плюхнулся на родительский диван. Благо было то редкое время дня, когда в квартире еще никого не было. События прошедшей ночи и дня поплыли перед глазами, пугали и смешили меня. Трамвай, полный арбузов, качался на волнах. В сапогах по воде мчался за нами Фараоныч, откусывая на ходу головки ставридок, которые сами прыгали ему в рот. В безоблачном небе парили маленькая и большая Жуковы, то взмывая ввысь, то подлетая к моему лицу.

– Просыпайся, родной, – приглаживая мои вихры, сказала Жукова-старшая. Я открыл глаза и увидел бабушку, сидящую рядом со мной на краешке дивана. – Тебя Толястик во дворе ждет. Только помойся и переоденься.

Плеснув пару раз воды в лицо, расчесав слипшиеся от соли волосы и натянув свежевыстиранную бабушкой майку, я скатился по лестницам во двор и застыл в изумлении. Таким я видел Толясика только на торжественной линейке в честь начала учебного года: коричневые вельветовые бриджи, штанины которых застегнуты на пуговики чуть ниже колен, носочки выше щиколотки, почти новые сандалии и белая накрахмаленная рубашка.

Мы направились в гости, когда солнце уже перекаатилось через границу порто-франко к Дюковскому саду, но его лучи еще дотягивались до голубых куполов Преображенского собора и подсвечивали циферблат пожарной каланчи в сквере на Базарной. Ко-

локольчики смеха слышны были еще с угла Дегтярного переулка: первый звонкий, хрустальный, другой медный, вторящий, понимающий. Посреди двора, хохоча, кружилась, поднимая парашютиком цветастую расклешенную юбочку, Наташка Жукова – первая любовь Толясика, его девушка. В самом конце двора на подоконнике выходящего в палисадник окна сидела Наташкина мама. Жукова-старшая. Перед ней на табуретке стояла эмалированная миска, в которой плавала арбузная полусфера. Жукова-старшая извлекала из нее столовой ложкой алые сахарные ломтики, смеясь от удовольствия.

– Берите ложки, помогайте, сами не справимся, – водружая в миску вторую половину арбуза, предложила большая Жукова. – Кстати, меня тетей Светой звать, а про вас мне все Наташенька рассказала и про ваш ночной подарочек, – расхохоталась она.

Хохотали и мы все, выгребая ложками розовую мякоть вместе с соком, захлебываясь от вкуснотищи, выплевывая в руку арбузные косточки. Перебивая друг друга, мы веселили нашу чудесную спасительницу и Наташку Жукову – первую любовь Толясика, подробностями ночного приключения: как повисли на оглобле, как прятались от Фараоныча, как заметали следы на рыбалке. Наташка смеялась, запрокинув головку и кладя ее на плечо Толясика, который тотчас замирал на мгновенье.

– Башибузуки, – повторяла сквозь смех тетя Света, покачивая головой.

Показывая, как забрасывал закидушку, я с размаху треснул по миске так, что она, подпрыгнув, под общие возгласы выплеснула на рубашку Толясика арбузный сок, буквально перекрасив ее в розовый цвет, оставив небольшие пятнышки белого.

– Меня дома убьют, – промолвил окаменевший Толясик.

– Ну-ка, раздевайся, – по-хозяйски распорядилась тетя Света. – Быстрее, быстрее, – командовала она, стягивая с Толясика прилипшую к телу рубашку.

– Укус, водка, мыло – и через час будет как новенькая, – успокоила она Толясика, перелезая через окно в квартиру.

Чувствуя себя виноватым, я развалился, опираясь о штакетник палисадника, глядя в небо, на темнеющем фоне которого стали проступать тусклые фонарики звезд. Под дворовой

водопроводной колонкой плескался Толястик. На фоне иссиня-черного от загара тела первая его любовь – Наташка Жукова – казалась неземным созданием, случайно опустившимся не за горизонт вместе с солнцем, а сюда, в пахнущий арбузом одесский дворик. Она промакивала скатывающиеся по спине и груди струйки воды и, внезапно набросив ему на голову белое вафельное полотенце, притянула его к себе, привстав на цыпочки. От этой слившейся в сумерках скульптуры уходил в космос трепет первого поцелуя, чтобы остаться там навсегда. Мамой клянусь, что ярче света, вспыхнувшего над ними, покрытыми белыми крыльями купидонов, мне не довелось видеть никогда в жизни. Или это окно, внезапно брызнувшее мне в глаза включенными электролампочками, заставило зажмурить глаза.

